ДОЛГОВАЯ КНИГА



Р. ОСТАШЕВ

ТРЕСНУВШАЯ ПОДВЕСКА

том первый

роман в двадцати одной главе

Р. Осташев

Треснувшая подвеска. Том первый

«Автор»
2026

Осташев Р.

Треснувшая подвеска. Том первый / Р. Осташев — «Автор», 2026

В шестнадцать лет у Лёвы Осташёва вылезают клыки — прямо в поезде Москва–Петербург, за час до прибытия.Он не обычный подросток с аллергией на солнце. Он вурдалак, последний из клана, который вырезали шестнадцать лет назад. Его прятала подвеска с чужой душой внутри. В Эрмитаже, у фамильного портрета, она треснула — и Лёву увидели все.Теперь ему предлагают работу в конторе, которая скупает вещи с душами. Уважаемый старик, который был рядом с детства, оказывается не тем, за кого себя выдавал. А тот, кто двадцать лет получал с его семьи процент, хочет вернуть долг — и Лёва как раз подходит на роль залога.До совета ночного мира двадцать один день. Лёва не умеет драться, пить кровь и врать. Зато умеет отдавать — и этого от него никто не ждёт.

© Осташев Р., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Поездка 5
Глава 2. Окно 10
Глава 3. Крыши 14
Глава 4. Полночь 19
Глава 5. Квартира 24
Глава 6. Гости 29
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Р. Осташев
Треснувшая подвеска. Том первый

Глава 1. Поездка

До совета — двадцать один день

Автобус Москва — Петербург идёт девять часов, и все девять часов я сидел у окна и делал вид, что сплю.

Делать вид я умел хорошо. За шестнадцать лет натренировался. Сплю я редко, а притворяюсь постоянно: на уроках, дома на диване, в автобусе на школьной экскурсии. Если не притворяться, начинают задавать вопросы, а вопросы — это худшее, что бывает в жизни. Хуже только солнце.

Солнце — мой личный враг. Не в переносном смысле. У всех нормальных людей от солнца веснушки и хорошее настроение. У меня — красные пятна, тошнота и острое желание залезть в подвал. Врачи говорили «аллергия», бабушка говорила «порода», а я говорил «спасибо» и держался в тени.

Ещё у меня очень холодные руки. Я слышу, как соседи на пятом этаже ссорятся из-за супа. Вижу в темноте так, что могу читать. И терпеть не могу чеснок. Чеснок я просто не люблю. Совпадение.

— Осташёв, ты не спишь? — Вера Павловна повернулась в кресле, и её очки сверкнули в свете телефона.

— Сплю.

— Тогда не храпи.

Дима, мой сосед по парте и по жизни, хрюкнул от смеха и сполз в проход.

Мы ехали в Петербург. Десятый «Б», три дня, четыре музея, одна ночь на набережной — всё как положено. Вера Павловна была уверена, что держит нас под контролем. Вера Павловна ошибалась, но об этом мне ещё предстояло узнать.

В салоне пахло бутербродами, мокрыми куртками и чужими духами. Кто-то смотрел кино без наушников, кто-то спорил, кто-то спал, уронив голову на плечо соседа. Артём Кулагин через два ряда рассказывал, как он в прошлом году отдыхал в Турции, где «всё включено, вообще всё», и его слушали три девочки и один мальчик, который надеялся, что ему тоже дадут слово.

Полина Бирюкова сидела через три ряда от меня, ближе к окну, и читала. У неё всегда с собой был фотоаппарат — старый, плёночный, отцовский, — и она снимала не достопримечательности, а мелочи: тень на стене, чужую руку, чашку на подоконнике. Мы учились вместе четыре года, и за эти четыре года я сказал ей примерно двадцать слов. Все двадцать — про домашку.

У неё в рюкзаке тренькнул телефон, и она, не доставая его, сказала себе под нос: «Мам, ну не сейчас».

Я повернулся.

Между нами было три ряда, кино, споры и Димин храп. И я слышал её так, будто она сидела рядом и говорила мне в ухо.

Она подняла голову, посмотрела в окно на мокрые ёлки и тихо сказала:

— Ну и дыра.

И я, не подумав, ответил:

— Это не дыра. Это Тверская область.

Она обернулась.

В салоне было шумно, но она услышала. И я услышал, как она услышала: сердце у неё стукнуло не в такт.

— Ты что, подслушиваешь? — спросила она.

— Я не подслушиваю. Ты громко думаешь.

Это было глупо, и я это знал. Полина посмотрела на меня секунды три, потом отвернулась к окну и больше ничего не сказала. А я сидел, слушал её сердце — ровное, чуть быстрее, чем у спящего Димы, — и думал, что, наверное, надо было промолчать.

В Петербург мы приехали в полночь.

Город встретил нас дождём, и этот дождь пах так, что у меня сводило зубы: асфальт, вода, выхлоп, чужие люди, а где-то в пяти метрах — кровь из разбитого носа. Пять метров. Я тогда ещё не знал, что это называется «чуять».

Хостел был на Сенной. Жёлтый дом, шесть этажей, облупленный фасад, на первом — магазин «ПРОДУКТЫ». Две комнаты на двенадцать человек. Вера Павловна сказала, что это «аутентично».

— Это не аутентично, — сказал Артём. — Это клоповник.

— Кулагин, — сказала Вера Павловна, — ты сегодня дежуришь по тишине.

Дима брякнул рюкзак на верхнюю полку и сразу начал спорить, кто где будет спать. Полина села у окна и стала протирать объектив. Я занял нижнюю кровать у двери — оттуда проще всего уходить — и обнаружил, что вижу в комнате всё, хотя свет ещё не включили.

Не так, как днём. А так, будто кто-то повернул ручку яркости и забыл вернуть.

Я видел трещины на штукатурке, видел, что у Димы развязан шнурок, видел у Полины на пальце порез от бумаги — старый, трёхдневный, уже затянувшийся. Я его не рассматривал. Я его просто знал.

— Осташёв, ты чего уставился? — спросил Артём.

— Ничего.

— У тебя глаза, как у кота.

Он сказал это в шутку. Я посмотрел в тёмное окно, на своё отражение, и понял, что он прав.

В коридоре на полу лежала капля крови — маленькая, свежая, с чьей-то разбитой коленки. Кровь пахла горячим железом. Я стоял над этой каплей секунды три и понимал, что мне не противно. Мне интересно.

Это напугало меня сильнее, чем глаза.

Ночью я вышел во двор — постоять, подышать. В комнате было душно и слишком много людей, а у людей слишком громко стучат сердца.

У соседнего подъезда сидел пёс. Обычный дворовый, рыжий, с белым пятном на боку. Он посмотрел на меня и встал.

Я сделал шаг. Пёс зарычал.

Я сделал второй — и пёс не залаял, а попятился, потом развернулся и ушёл, поджав хвост, будто я был не мальчиком, а чем-то, что лучше обойти.

— Собаки не любят вампиров, — сказала Полина.

Я обернулся так быстро, что чуть не упал.

Она стояла у двери с фотоаппаратом на шее, в куртке поверх пижамы, и улыбалась.

— Шутка, — сказала она.

— Смешно.

— Ты вообще-то сам виноват. — Она села на бордюр. — Ходишь так, будто тебе всё равно, что вокруг.

— Это как?

— Как человек, который привык, что его не замечают.

Я сел рядом. Впервые за четыре года.

— Ты почему не спишь? — спросил я.

— Хотела снять ночной город. — Она подняла камеру. — А плёнки нет. Я забыла плёнку дома, представляешь? Ехать в Петербург и забыть плёнку.

— Купим.

— В полночь?

— Завтра. После музея. Тут на углу фотомагазин, я видел вывеску.

Она посмотрела на меня внимательно, будто проверяла, не шучу ли я.

— Ладно, — сказала она. — Завтра. Ты обещал.

И это «завтра» было лучшим словом за весь день. Тогда я ещё не знал, что обещать — опасно.

Утром пошли в Эрмитаж.

Экскурсовод рассказывал про архитектора, про пожар тысяча восемьсот тридцать седьмого года и про то, как быстро восстановили Зимний дворец. Я слушал вполуха. В залах было людно, иностранцы фотографировали потолки, школьники тихо умирали. Полина шла последней и всё время поднимала пустой фотоаппарат — щёлкала без плёнки, по привычке, и морщилась.

Портреты висели ровно: люди в камзолах, дамы в платьях, дети с собачками, дети без собачек. Все смотрели не на меня, а мимо, как смотрят со старых фотографий те, кого уже не касается, что происходит в комнате.

В маленьком боковом зале я остановился.

Там висела женщина. Тёмное платье, бледное узкое лицо, волосы убраны наверх, и на шее — кулон: тёмный металл, сплюснутый, похожий на каплю.

У меня на шее висел такой же.

Бабушка надела его мне в детстве и сказала: «Это от простуды, Лёва, не снимай». Шестнадцать лет я верил, что кусок металла на шнурке спасает меня от насморка. Я даже в бассейне его не снимал — тренер ругался, а потом махнул рукой.

Я подошёл ближе и прочитал табличку.

«Неизвестный художник. Портрет Е. П. Осташёвой. 1790-е годы».

Я перечитал. Буквы не изменились.

— Осташёв, ты чего? — рядом встал Артём. — О, смотри, твоя родня. Вампирша.

— Почему вампирша?

— Потому что бледная. И кулон. — Он засмеялся. — Спорим, ты к ней ближе не подойдёшь?

— К картине?

— К стеклу. Слабо?

Спорить было не надо. Но вокруг уже стояли ребята, и Полина стояла, и Вера Павловна была далеко, у окна, а Артём улыбался так, как улыбаются те, кому важно не проиграть при свидетелях.

Я подошёл.

Стекло было тёплым. Не прохладным, как положено стеклу в музее, а тёплым, как лоб человека.

В стекле я увидел своё отражение.

Только отражение на полсекунды опоздало. Я уже стоял неподвижно — а оно ещё поднимало руку.

Я дёрнулся назад, но подвеска качнулась, стукнула о стекло — тихо, едва слышно, — и стала горячей.

По тёмному металлу побежала светлая полоса, будто внутри зажгли фонарик. Раздался тонкий щелчок, как от стакана, в который налили кипяток.

Я схватился за шею.

— Ты чего? — спросил Артём. — Обжёгся?

— Нет.

— Да ты белый весь. Белее этой.

И тогда я услышал голос. Тихий, женский, усталый, будто из-за стены:

— Осторожно, мальчик. Тебя видят.

Я обернулся. Никого. Вера Павловна у окна. Ребята у соседней стены. Экскурсовод рассказывает про пожар.

Только Полина стояла в дверях зала и смотрела не на картину и не на меня, а на стекло. На то место, где только что было моё отражение.

Я посмотрел на портрет.

Женщина в тёмном платье смотрела прямо на меня.

Я сказал, что мне надо в туалет, и ушёл быстрее, чем следовало.

В туалете было пусто и пахло хлоркой. Я открыл кран, плеснул в лицо холодной водой, поднял голову к зеркалу — и увидел, что улыбаюсь.

Я не улыбался. Просто верхняя губа не закрывала зубы.

Два верхних клыка стали длиннее. Не сильно — на пару миллиметров. Но достаточно, чтобы губа цеплялась за них, как за гвозди.

Я потрогал один пальцем. Острый. Палец кольнуло, и выступила капля крови. Своей. Я смотрел на неё и чувствовал, как во рту становится много слюны.

За дверью кто-то зашёл, хлопнул кабинкой. Я сжал губы, вытер руки о джинсы и вышел, глядя в пол.

Остаток экскурсии я говорил, не открывая рта. Получалось «угу» и «ага». Дима решил, что у меня заболел зуб, и предложил аспирин. Я сказал «угу».

К вечеру я знал три вещи.

Первое: в зале я ничего не придумал. Подвеска треснула — тонкая светлая полоса шла по металлу, как трещина во льду.

Второе: клыки не уходили. Они то становились меньше, то снова лезли, и это зависело от того, сколько вокруг было людей. Чем больше людей, тем хуже.

Третье: Полина весь день смотрела на меня так, будто я сказал что-то не то и не признаюсь.

Про плёнку я забыл.

Вспомнил только на набережной, когда фотомагазин на углу уже был закрыт и железная решётка опущена до земли. Полина прошла мимо этой решётки, посмотрела на неё, потом на меня и ничего не сказала. Лучше бы сказала.

Дождь кончился. Все фотографировались, Вера Павловна покупала кофе, Дима читал вслух какой-то мем. Я стоял у парапета и смотрел в воду.

В воде было не темно. В воде было, как днём: я видел дно, видел бычок, видел, как у самого дна медленно ворочается что-то длинное.

И тут кто-то сел рядом на парапет.

Я сначала услышал запах — тонкие цветочные духи, а под ними кофе и бумажная пыль, как в канцелярии. Потом увидел её.

Она сидела на парапете аккуратно, как сидят на стуле в приличном кабинете, и на неё оборачивались. Не потому, что она делала что-то странное. Просто оборачивались.

Высокая, с длинными тёмными волосами, убранными на одну сторону. Светлые глаза — серо-зелёные, я так и не понял какие. Белая блузка, заправленная в тёмную юбку, туфли на небольшом каблуке — не те, в которых гуляют по набережной в одиннадцать вечера. На запястье — часы, слишком дорогие для этой блузки. На коленях — бумажный стакан с кофе и папка с завязками.

Рядом с ней я почувствовал себя очень шестнадцатилетним.

— Ты долго, — сказала она. — Я уж думала, ты сам догадаешься.

— О чём?

— О том, что тебя видно.

Она улыбнулась — спокойно, одними губами, — и у меня в голове стало пусто и гулко, как в спортзале после уроков.

— В такой юбке по набережной? — спросил я, потому что когда мне страшно, я говорю глупости.

— Меня сорвали с аттестации, — сказала она. — Я сдавала устав, а тут позвонили и сказали, что в Эрмитаже треснул замок. Переодеться не успела. — Она сделала глоток. — Меня зовут Кира. И, судя по твоей подвеске, у нас с тобой двадцать один день.

— До чего?

— До совета. — Она слезла с парапета и одёрнула юбку. — Через двадцать один день ночной мир соберётся и решит, есть ли ты вообще. А до этого тебя будут искать все, кому не лень. И кому лень — тоже.

— Кто искать?

— Слушай внимательно. Сейчас ты пойдёшь к своим, скажешь, что плохо себя чувствуешь, доберёшься до хостела и ляжешь. Я приду через час.

— Зачем?

— Затем, что тебе надо объяснить пару вещей, пока ты не сделал чего-нибудь глупого. — Она уже уходила. — И, Лёва. Ночью тебя позовут. Не открывай. Кто бы ни звал.

Я не говорил ей, как меня зовут.

Она ушла в сторону Невского, а я стоял у парапета с ощущением, что меня только что переехал трамвай и вежливо извинился.

— Лёва?

Полина. Подошла так тихо, что я не услышал, а я теперь слышал всё.

Она смотрела на мою шею — туда, где под свитером лежала подвеска, — и в глазах у неё было не любопытство, а страх.

— Что у тебя с шеей? — спросила она.

— Ничего.

— У тебя там светится. Через свитер.

Я сунул руку за воротник. Металл был тёплым.

— Тебе показалось, — сказал я.

— Мне не показалось в музее, — сказала она. — Твоё отражение опоздало. Я видела.

Я не знал, что ответить. Поэтому сказал самое глупое из возможного:

— Про плёнку я забыл. Извини. Завтра.

— Не обещай, — сказала Полина. — У тебя плохо получается.

Она развернулась и пошла к остальным.

А я остался стоять, и клыки снова упёрлись в губу, потому что она ушла, а людей вокруг меньше не стало.

Глава 2. Окно

До совета — двадцать один день

Кира пришла через час сорок, а не через час, и за эти сорок минут я успел сойти с ума трижды.

Лежать в хостеле, где двенадцать человек храпят, сопят и ворочаются, — отдельное мучение. Я слышал всё. Как у Димы урчит в животе. Как у Макса под корочкой на коленке пульсирует кровь. Как на первом этаже кто-то моет посуду и жалуется на жизнь по-узбекски. Как за стеной, в соседнем доме, женщина пересчитывает деньги — шелест купюр, очень отчётливый.

Я лежал и держал подвеску в кулаке. Она была тёплой. Она никогда не была тёплой.

Сначала я пытался убедить себя, что всё это ерунда. Стресс, поездка, недосып. Клыки — от челюсти. Челюсть — от того, что я стискиваю зубы во сне; бабушка всегда говорила, что я скриплю, как старая дверь.

Только бабушка не говорила, что при этом растут зубы.

Я встал и подошёл к окну. За окном был двор, мусорные баки, фонарь и кот на баке. Кот посмотрел на меня и ушёл — не по-кошачьи быстро, а медленно и обиженно, как человек, которому наступили на ногу.

В тёмном стекле я снова увидел себя. Клыки почти убрались. Почти. Верхние зубы были слишком длинными и слишком острыми, и я, наверное, минуту рассматривал их, как чужую вещь в магазине: вертел, а купить не решался.

Тогда я и позвонил бабушке. В третий раз за вечер.

Гудки шли долго, потом в трубке щёлкнуло, и женский голос сказал не «абонент не отвечает», а «номер недоступен». Как будто телефон выключили.

Бабушка никогда не выключала телефон. Она даже в поликлинике держала его в руке, на случай если я позвоню.

Вот тогда мне стало страшно по-настоящему. Не за себя. За неё.

Дима проснулся первым. Он всегда просыпался, если рядом кто-то не спал.

— Ты чего сидишь? — спросил он шёпотом, который было слышно на первом этаже.

— Не спится.

Это было правдой. Не всей.

— Зуб? — спросил он.

Я чуть не поперхнулся.

— Какой зуб?

— Ну ты весь день мычал. — Он свесился с верхней полки. — Я тебе аспирин предлагал. Ты сказал «угу». Это было «да» или «нет»?

Я сидел, натянув одеяло до носа, и говорил через него, как через шарф.

— Ты как в маске, — сказал Дима. — Сними.

— Холодно.

— В комнате, где двенадцать человек и батарея как в бане?

— У меня своя температура.

— У тебя своя голова, — сказал Дима и улёгся обратно. — Спокойной ночи, граф Дракула.

Он сказал это в шутку, как Артём про глаза. Все вокруг шутили правду, а я один делал вид, что не понимаю юмора.

Врать Диме было труднее всего. Он не проверял. Он просто верил, и от этого было стыдно, будто крадёшь у человека, который сам протянул тебе кошелёк.

Потом я лежал и слушал дом.

На четвёртом этаже кто-то ходил из угла в угол: шестнадцать шагов туда, шестнадцать обратно. В соседнем здании капала вода в раковину — капля, пауза, капля.

А потом в коридоре на нашем этаже открылась чужая дверь.

Шаги были мягкие, почти беззвучные, и остановились ровно напротив нашей комнаты.

Раз, два, три. Шаги не уходили. Кто-то стоял за дверью и дышал. Ровно, спокойно, как дышат люди, которые никуда не торопятся.

Я встал, подошёл и посмотрел в глазок.

В коридоре горел ночник, я видел каждую трещину в линолеуме. Никого.

И тут я понял, что вижу не только коридор. Я видел сквозь дверь — не глазами, а как-то иначе, будто дверь стала тонкой, как калька. За дверью никого не было. Но пахло там так, как пахнет на почте, когда запечатывают посылку: горячим воском и чем-то красным, аптечным.

Сургуч. Я знал это слово только по урокам истории.

Запах постоял ещё секунду и ушёл вниз по лестнице. Шагов я больше не слышал.

Если я слышу то, чего не должен, и вижу то, чего не должен, дело не в двери. Дело во мне.

Кира постучала три раза, с паузой. Я открыл так быстро, что простыня осталась висеть в воздухе.

Она стояла в коридоре — в светлом плаще поверх той же блузки, с маленькой сумкой на плече — и лицо у неё было как у человека, который только что спорил с начальством и проиграл.

— Пошли, — сказала она. — Только тихо.

— Стой. — Я упёрся рукой в косяк. — Ты кто вообще?

— Кира Вельяминова. Ведомство, отдел пятнадцать-К, стажёр второго года. — Она проговорила это скороговоркой, как формулировку, которую повторяла в машине. — У меня допуск, у меня поручение, и у меня, к сожалению, есть ты. Всё. Пошли.

— Я тебя не знаю. Я никуда не пойду.

Она посмотрела на меня секунды три и вздохнула так, будто у неё кончилось запасное терпение.

— Хорошо. Твоя бабушка. Тамара Петровна. Второй этаж, квартира шестнадцать, дверь обита коричневым дерматином. Синий платок с узором. Артрит на правой руке. Сумка с ручкой, обмотанной изолентой, в сумке всегда лекарства и бутерброд. Не спит ночами с тех пор, как тебе исполнилось четыре. — Пауза. — Продолжать?

— Где она?

— Не знаю. — Кира впервые отвела глаза. — Её телефон выключен с восьми вечера. И это мне нравится ещё меньше, чем тебе.

Это меня и убедило. Не то, что она знала про изоленту, а то, что честно сказала «не знаю».

— Минута, — сказал я.

Я натянул джинсы и куртку. В комнате все спали, кроме одного человека: Полина сидела на подоконнике, обхватив колени, и смотрела на меня. Без фотоаппарата. Просто смотрела.

Я поднёс палец к губам.

Она не кивнула. Но и не позвала Веру Павловну.

— Вернёшься? — спросила она одними губами. Я услышал так, будто она сказала это вслух.

Я хотел сказать «да». Потом вспомнил, как она смотрела на закрытую решётку фотомагазина.

— Постараюсь, — сказал я так же беззвучно.

Она чуть заметно усмехнулась, отвернулась к окну и обхватила колени покрепче.

Мы вышли через чёрный ход, мимо мусорных баков, мимо кота, который снова от меня ушёл. Кот меня боялся. Мне от этого было почему-то приятно, а потом стыдно.

Машина Киры была старая, синяя, с вмятиной на передней двери и наклейкой на заднем стекле: «СПАСИБО, ЧТО НЕ БЫСТРО». Внутри пахло кофе, собакой и пылью.

— Твоя?

— Отдела. — Она завела двигатель. — Права у меня есть. Разрешения брать её — нет. Садись и не трогай бардачок, там документы и, скажем так, не только документы.

Петербург ночью — отдельный город. Не тот, что на открытках: тут темно, пусто и очень много неба. На Дворцовой ветер, вода в каналах чёрная, как тушь, и где-то на другом берегу кто-то фальшиво играл на гитаре.

Кира молчала до самого Литейного.

— Слушай, — сказала она наконец. — Я скажу один раз. Потом задашь вопросы, и я отвечу на те, на которые можно. Только не перебивай.

— Хорошо.

— Ты не человек. Точнее, не только человек. Ты вурдалак, Лёва. Ты родился вурдалаком, а это бывает редко. И ты не знал, потому что тебя от этого спрятали.

Я молчал. Не потому что был спокоен, а потому что не знал, какое слово выбрал бы, если бы пришлось.

— У тебя есть семья, о которой ты ничего не знаешь, — продолжала она. — Клан Осташёвых. Шестнадцать лет назад клан вырезали за одну ночь, в имении под Москвой. Считалось, что не выжил никто. Твоя мама умерла не от болезни. Твой дед — не от сердца.

— А папа?

— Про папу — потом. Там всё сложно даже для нас. — Она свернула. — Сейчас важно другое. Подвеска шестнадцать лет держала тебя невидимым. Для наших тебя не было. Ты ходил в школу, ел суп, болел ветрянкой, и ни один вурдалак, ни одна ведьма, ни одна контора в этой стране не знала, что ты есть. А сегодня она треснула.

— Почему в Эрмитаже?

— Потому что там висит Евдокия Петровна Осташёва, твоя прапрапрабабка. И кулон на портрете — тот же самый, что у тебя на шее. Подвеска узнала хозяйку. Вещи, Лёва, тоже скучают. — Кира помолчала. — А когда вещь с замком скучает, замок трескается.

— С замком.

— С замком. Подвеска — не украшение. Это печать. И внутри неё кто-то живёт.

— Кто?

Кира посмотрела на меня в зеркало.

— Я не знаю. Честно. Знаю только, что голос, который ты слышал в зале, был не из картины.

Я положил ладонь на свитер, на то место, где лежала подвеска. Мне показалось, что она тёплая, как чужая рука.

— Осторожно, мальчик, — повторил я шёпотом. — Тебя видят.

— Вот именно, — сказала Кира. — Тебя видят. Ты сейчас как квартира с распахнутыми окнами в доме, где по документам никто не живёт, но свет горит. Все, кто смотрит в эту сторону, уже заметили. А кто-то уже подошёл ближе, чем ты думаешь.

— Кто-то стоял у нашей двери, — сказал я. — Полчаса назад. Я никого не видел. Только запах. Как сургуч.

Кира не ответила. Но руки у неё на руле стали другими — пальцы сжались.

Она остановилась у ограды канала, достала из кармана коробочку и протянула мне.

Внутри был медальон: простой, металлический, на шнурке.

— Второй замок, — сказала она и сама застегнула его мне на шею, поверх подвески. — Он ничего не прячет. Но если тебя начнут звать слишком настойчиво, он нагреется. Как чайник. Понял?

— Понял.

— Не понял. — Кира повернулась ко мне всем телом. — Скажи, что ты сделаешь, если в окно постучат и скажут: «Лёва, это я, твоя мама».

Я молчал.

— Вот поэтому я и приехала, — сказала она без всякой иронии. — Ещё одно. Тебе сейчас будет хотеться. Ты уже понял чего.

Я понял. Я понял это ещё у капли крови в коридоре.

Кира достала из сумки металлическую фляжку, обтянутую кожей.

— Отдел выдаёт. Паёк. Не человеческое, не бойся, никого ради этого не обижали. — Она отвинтила крышку. — Пей. Глоток утром, глоток вечером.

Пахло из фляжки аптекой и чем-то солёным. Я сделал глоток. Вкус был, как у лекарства, которое тебе не выписывали, но вдруг оно помогло. Клыки, которые весь вечер упирались в губу, медленно ушли на место.

— Мерзость, — сказал я.

— Мерзость, — согласилась Кира. — Но если пропустишь, однажды укусишь того, кого любишь. Не чужого. Чужих не хочется. Всегда хочется своих.

Она сказала это так спокойно, как говорят «пристегнись».

— Завтра пойдём туда, куда я сама не очень люблю ходить, — сказала она, разворачивая машину. — Клуб «Полночь». Там собирается ночной мир. Если кто и знает, кто стоял у твоей двери, — то там. А сейчас спать.

Ночью окно открылось.

Я лежал в темноте, я не спал, и я слышал, как оно открылось — не в комнате, во мне. Будто где-то внутри выдвинули створку, и в щель подул ветер. Тёплый. Он пах лилиями.

И голос, бабушкин, очень спокойный, тот самый, которым она говорила «Лёвка, иди есть»:

— Лёва. Встань. Открой.

Я встал.

Я стоял посреди комнаты, вокруг храпели ребята, а рука сама тянулась к окну, к шпингалету.

И тогда медальон на груди стал горячим. Как утюг.

Меня обожгло — и отпустило. Я упал на колени, зажал медальон в кулаке и сидел так, пока не прошло. За окном никого не было. Ни бабушки, ни женщины, никого.

Я сидел на полу и думал о том, что мне шестнадцать лет, что я в чужом городе, что бабушка не берёт трубку, а кто-то только что говорил её голосом.

Под утро я всё-таки уснул. С подвеской на шее и медальоном в кулаке.

А когда проснулся, медальон был на месте.

Подвески не было.

Шнурок лежал на подушке аккуратно, как кладут вещь, которую вернут. Узел был не развязан, не порван — шнурок был цел, словно подвеску просто вынули из него, как вынимают ключ из кольца.

Окно было закрыто на шпингалет. На подоконнике лежала женская чёрная перчатка, и от неё пахло лавровишней и старой бумагой.

В кармане моей куртки я нашёл записку. Обычный лист, печатные буквы:

«Здравствуй, наследник. Подвеска у меня. Так безопаснее. Не ищи».

Глава 3. Крыши

До совета — двадцать дней

Утро после кражи было худшим утром в моей жизни, и я говорю это без преувеличения.

Я сидел на своей нижней кровати у двери, держал в руке пустой шнурок и смотрел на него, как на дохлую рыбку. Над кроватью кто-то до меня выцарапал на стене «ТУТ БЫЛ САША». Мне хотелось стать этим Сашей. Саша, судя по надписи, жил простой жизнью: приехал, поставил галочку, уехал.

Перчатку я спрятал в рюкзак, записку — в карман. Шнурок намотал на запястье. Так он хотя бы был при мне.

В семь встала Вера Павловна и начала обход.

— Осташёв, ты почему не спишь?

— Я сплю.

— Ты сидишь.

— Я сплю сидя.

— Тогда спи лёжа, — сказала она и ушла на кухню варить кофе.

Потом встал Дима.

— Ты чего зеленее обычного?

— Не выспался.

— Ты всегда не выспался. — Он потянулся так, что хрустнуло. — Слушай, а чего ты вчера с набережной сбежал?

— Живот.

— А, — сказал Дима. — Ну да.

И вот так, «а, ну да», он мне поверил. А я понял, что до конца поездки мне придётся врать раз тридцать, и все тридцать — ему.

Пить из фляжки при всех было нельзя, и я закрылся в душе. Аптечный вкус, соль, комок в горле. Клыки ушли. Я смотрел в запотевшее зеркало и думал, что бабушка, наверное, тоже каждое утро что-то от меня прятала. Только я не замечал.

Когда я вышел, на лестнице разговаривали.

Голос Веры Павловны я узнал сразу — так она говорит с родителями на собраниях, когда очень старается быть вежливой. Второй голос был мужской. Ровный, тёплый, без единой шершавинки, как хорошо отутюженная рубашка.

— …понимаю ваше беспокойство, — говорил мужчина. — Но бабушка Льва Анатольевича в больнице, состояние тяжёлое, и органы опеки обязаны забрать мальчика сегодня. Вот постановление.

— Мне никто не звонил, — сказала Вера Павловна.

— Вот я и пришёл, чтобы вам не звонить. Звонки — это так ненадёжно.

Я стоял за поворотом лестницы и не дышал.

Сверху мне был виден только край его пальто — тёмного, длинного, — и рука в серой замшевой перчатке. На мизинце поверх перчатки было кольцо-печатка. Пахло сургучом. Тем же, что ночью за дверью.

Лев Анатольевич. Меня так не называл никто. Даже в поликлинике говорили «Осташёв, заходи».

— Я должна позвонить директору, — сказала Вера Павловна.

— Конечно, — согласился мужчина. — Звоните. Я подожду. У меня очень много времени.

Над моей головой тихо щёлкнуло.

Я поднял глаза. На площадке этажом выше, прижавшись к перилам, стояла Полина с фотоаппаратом. Она навела объектив вниз, на пальто и перчатку, и нажала на спуск ещё раз. Щелчок был тихий, но мужчина внизу замолчал.

Он замолчал так, как замолкает человек, который прислушался.

Полина посмотрела на меня. Я показал ей рукой: наверх, уходи. Она не ушла. Тогда ушёл я — назад, в комнату, тихо, по стене, — и набрал Киру.

— Тут человек, — прошептал я. — Из опеки. Говорит, бабушка в больнице и меня забирают. Зовёт меня Львом Анатольевичем. Пахнет сургучом.

В трубке стало очень тихо.

— Слушай меня, — сказала Кира. — Бабушка не в больнице. Я проверяла ночью все больницы Москвы. Никуда с ним не ходи. Ни на что не отвечай. Если он позовёт тебя по имени-отчеству — не оборачивайся. Это важно. Ты понял?

— Почему?

— Потому что имя — это ручка от двери. Кто зовёт тебя «Лев Анатольевич» и при этом не держит в руках твой паспорт, тот зовёт не тебя. Он зовёт то, что можно вынести. — Пауза. — Я внизу через десять минут. Не через дверь. Через окно.

— Мы на четвёртом этаже.

— Вот именно, — сказала Кира и отключилась.

Вера Павловна вернулась через пять минут, красная и злая.

— Осташёв. Сядь.

Я сел.

— Ко мне приходил мужчина из опеки. Сказал, что твоя бабушка в больнице. — Она смотрела на меня поверх очков. — Я позвонила директору. Директор позвонила в опеку. В опеке такого сотрудника нет. Когда я вернулась на лестницу, его тоже не было. — Она помолчала. — Лёва, что происходит?

Это был первый раз за четыре года, когда она назвала меня Лёвой.

— Я не знаю, — сказал я. И это была правда, почти вся.

— Ты звонил бабушке?

— Она не отвечает.

Вера Павловна сняла очки и потёрла переносицу.

— Сегодня ты никуда не ходишь, — сказала она. — Совсем. Группа идёт в Петропавловку, а ты сидишь в комнате с Артёмом — у него температура. Я вернусь в два, и мы вместе ещё раз позвоним бабушке. И в полицию, если придётся.

Она ушла. Я сидел на кровати, Артём кашлял под одеялом и смотрел в телефон.

В окно постучали.

На пожарной лестнице, в джинсах и куртке вместо вчерашней юбки, сидела Кира и показывала мне жестом: открывай.

— Осташёв, — сказал Артём из-под одеяла. — Там баба на лестнице.

— Это не баба, — сказал я. — Это отдел.

— Чего?

— Спи, Кулагин. У тебя температура, тебе мерещится.

Он подумал и решил, что это правда.

Я открыл окно. Кира заглянула внутрь, посмотрела на шнурок у меня на запястье, на рюкзак, и спросила только:

— Перчатка где?

Я отдал. Она понюхала её, как нюхают молоко, и скривилась.

— Лавровишня и старая бумага. Ведьма. Так пахнет, когда ведьма работает с вещами. — Она посмотрела на шнурок. — Подвеску вынули, не развязывая узла. Окно закрыто изнутри. Значит, у неё есть тропа: она прошла сквозь стену, как сквозь занавеску. Это умеют немногие.

— Я её не снимал, — сказал я. — Честно. Я спал с ней.

— Знаю. Ты ни в чём не виноват. — Кира протянула мне руку. — Тебя бы не спасло, даже если бы ты не спал. Вылезай. Сегодня ты будешь бегать. Предупреждаю заранее, чтобы ты не орал.

Бегать я начал через пять минут, и это было унизительно.

Кира повела меня по крышам: с пожарной лестницы на жесть, с жести на соседний дом, через чердак, где спали голуби и пахло известью. Петербург сверху оказался не городом, а картой, по которой можно ходить пешком, если не боишься высоты.

— Прыгай, — сказала она.

— Ты сдурела.

— Лёва. Ты слышишь, как у меня бьётся сердце. Ты видишь в темноте. У тебя под ногтями чешется — я вижу, как ты их трёшь. — Она уже стояла на соседней крыше, метрах в четырёх. — Ты прыгнешь. Просто ещё не знаешь об этом.

Я прыгнул.

И в полёте понял, что переоценил себя. До края не дотянул, ударился о водосточную трубу, съехал по ней, как по горке в детском городке, и рухнул в мусорный контейнер.

Внутри было мягко. Мокро, но мягко.

Кира заглянула сверху.

— Ну, — сказала она, — для первого раза неплохо.

— Я тебя ненавижу.

— Это нормально. — Она спрыгнула легко, как кошка, и протянула мне руку. — Вставай. У нас след.

Я его чувствовал. Это было трудно объяснить: тонкая ниточка лавровишни тянулась по асфальту, как меловая линия, которую видишь только краем глаза. У метро она уходила в подворотню, потом по стене вверх, потом снова вниз.

— Правила, — сказала Кира на ходу. — Быстро. Повторять не буду, потому что во второй раз ты, может быть, услышишь не мой голос.

Правил было три.

Первое: если тебя окликнули по имени-отчеству — не оборачивайся. Не отвечай. И особенно не поправляй.

Второе: не отвечай на вопрос, которого тебе не задавали. Если слышишь «Лёва, как пройти?», а рядом никого нет, — молчи. Даже если голос очень вежливый.

Третье: если за тобой идёт запах, не веди его домой. Веди туда, где люди.

— А если людей нет?

— Беги на свет. Там хотя бы видно, кого ты не спас.

Она сказала это так же просто, как про фляжку.

— И ещё. Меня тоже можно позвать моим голосом. Если услышишь меня и не увидишь машины — это не я.

— А если увижу машину?

— Смотри, есть ли на двери вмятина.

След привёл на Лиговский, в подворотню с вывеской «Антикварiатъ» — с твёрдым знаком и трещиной посередине.

Внутри было темно, пыльно и пахло нафталином. За прилавком сидел старик с лицом, которое устало жить, и смотрел на меня так, будто я его кредитор.

— Нет, — сказал он.

— Что нет?

— Того, что ты ищешь, у меня нет. А было бы — не продал. Иди, мальчик. Тут не твоё.

Тогда я сделал то, что умею лучше всего. Сел на стул у прилавка и стал задавать вопросы. Негромко, по одному, как бабушка в поликлинике выясняет у регистратуры, почему её записали не к тому врачу.

Старик сначала отбрыкивался, потом налил себе чаю, потом достал печенье (мне не предложил, и Кира одобрительно кивнула), потом сдался.

— Была женщина, — сказал он. — Утром, в шесть. Принесла кулон. Тёмный, тяжёлый, с трещиной. Попросила подержать до вечера и никому не показывать. Заплатила вперёд.

— Где он?

— Не у меня. У меня правило: то, что просят не показывать, я не держу в лавке. Я отношу к коту.

— К какому коту?

— К чугунному. На Фонтанке, у Гороховой, на карнизе. Ты не местный, что ли? — Он отхлебнул чай. — У него внизу выемка. Туда кладут то, что должно полежать на улице. Вещи, мальчик, иногда должны полежать на улице. Подышать.

Я не успел спросить, зачем вещам дышать.

Медальон на груди стал горячим.

Не от зова. От взгляда. Кто-то смотрел на меня снаружи, и взгляд был тяжёлый, как ладонь на затылке.

— Кира, — сказал я.

Она уже стояла у окна, сбоку, так, чтобы её не было видно с улицы.

— Балкон напротив. Второй этаж.

На балконе стоял человек. Высокий, в тёмном плаще. Лица не было видно, и это было неприятнее, чем если бы было.

— Это он? Из опеки?

— Нет. Это его люди. Он сам по балконам не стоит. — Кира завела руку за спину, и я понял, что там пистолет. — Лёва, на тебя открыли счёт. Сегодня утром за тебя давали одно, сейчас дают другое. Кто-то очень хочет успеть до совета.

Человек на балконе сделал шаг вперёд и просто шагнул вниз.

Не упал. Шагнул, как с бордюра.

Кира сбила меня со стула. Мир сложился пополам: шкаф, пол, звон в ушах, её рука на моём затылке и голос, очень спокойный:

— Лежи. Голову руками. Руки, Лёва! — И громко, на всю лавку: — Здесь Ведомство! Помещение под надзором!

Снаружи ответили вежливо:

— Мы подождём, Кира Андреевна. У нас очень много времени. Лев Анатольевич, выходите, пожалуйста. Будет лучше.

Я дёрнулся. Не к двери — просто дёрнулся, как дёргаешься, когда тебя окликают в толпе.

Кира прижала меня к полу сильнее.

— Не оборачивайся, — сказала она мне в ухо. — Не отвечай. Ты не Лев Анатольевич. Ты Лёва. Лёва лежит на полу в антикварной лавке и молчит.

Я лежал и молчал. Молчать оказалось очень трудно: голос за дверью тянул, как тянет сквозняк.

Мы пролежали за прилавком минут двадцать. Потом Кира поднялась, посмотрела в щель между ставнями и сказала:

— Ушли.

— Кто они? — Я сел. Руки дрожали.

— Те, кто торгует. Не ведьмы, не вурдалаки, не Ведомство. Люди без правил и без юрисдикции. Работают за деньги и считают, что это и есть правила.

Старик за прилавком тихо сказал:

— Ты зря ему всё это рассказываешь.

— Я ему всё расскажу, — ответила Кира. — Если его убьют, а он будет думать, что это была вежливая просьба, я потом не усну.

До кота мы бежали дворами.

Он сидел на карнизе первого этажа, маленький, чугунный, чёрный от времени и голубей. Под ним в стене была выемка, как для мыльницы. Я сунул туда руку.

Пусто. Только запах лавровишни, такой густой, что защипало глаза, и обрывок бумажной ленты, какой перевязывают аптечные коробки.

— Опоздали, — сказала Кира. — Она забрала её обратно. Час, может быть, два назад.

— Зачем отдавать антиквару вещь, чтобы через пару часов забрать?

— Затем, чтобы та подышала, — сказала Кира. — Треснувшая печать не любит, когда её держат в кармане. Её надо выносить на воздух, как больного. Значит, та, кто её взяла, о ней заботится.

— Ведьма, которая меня обокрала, заботится о моей подвеске?

— Вот и мне это не нравится.

По набережной шла экскурсия. Я услышал её раньше, чем увидел: экскурсовод, голос Веры Павловны, Артёмов кашель — значит, он всё-таки увязался, — и Димин смех.

Я вжался в подворотню. Кира встала передо мной, будто разглядывала витрину.

Группа прошла мимо в трёх метрах. Последней шла Полина. На груди у неё висел фотоаппарат, и в окошке счётчика кадров стояла цифра «9». Она купила плёнку. Сама. Утром.

Она остановилась у кота, навела объектив на выемку, щёлкнула — и подняла глаза. Прямо на меня.

Она меня видела. Через Киру, через тень подворотни, через всё.

Полина ничего не сказала. Повернулась и пошла догонять своих.

— Это кто? — спросила Кира.

— Одноклассница.

— Она тебя видела?

— Она всё видит, — сказал я. — Даже то, чего не надо.

Кира посмотрела Полине вслед долгим профессиональным взглядом.

— Интересно, — сказала она. — Ладно. Потом. Сегодня вечером идём в «Полночь».

— А что там хорошего?

— Там тебя хотя бы не убьют сразу. Там правила.

Глава 4. Полночь

До совета — двадцать дней

В комнату я вернулся через окно без десяти два. Артём спал, обняв подушку, и бормотал что-то про Турцию.

Вера Павловна вошла ровно в два. Посмотрела на меня, на мокрые джинсы, на кроссовки, с которых на пол натекла лужица.

— Ты был в комнате? — спросила она.

Я мог соврать. Я уже открыл рот, чтобы соврать.

— Нет, — сказал я. — Я искал бабушку.

Она долго молчала. Потом села на соседнюю кровать — прямо на Артёмов рюкзак — и сказала:

— Мне звонили из полиции. Полчаса назад. Сказали, что Тамара Петровна нашлась, она у родственников, с ней всё в порядке, и что сегодня вечером за тобой приедет двоюродная сестра. — Вера Павловна прищурилась. — У тебя есть двоюродная сестра, Осташёв?

— Есть, — сказал я.

Это была неправда. Через пять часов она стала правдой — по документам.

Кира сказала мне об этом в машине, когда мы стояли у хостела, а Вера Павловна смотрела на нас из окна четвёртого этажа.

— Это отдел, — сказала Кира. — Мы так делаем. Звонок из полиции, справка, доверенность. Через полчаса твоя учительница получит на почту бумагу, которую не отличит от настоящей ни один директор.

— Она и есть настоящая?

— Она настоящая. — Кира протянула мне папку. — Неправда в ней только одна: что я тебе сестра.

— Я не люблю врать Вере Павловне.

— Ты никого не любишь обманывать. Это хорошо. Это пройдёт, и вот это будет плохо.

Вера Павловна вышла на крыльцо в пятом часу. Посмотрела на Киру, на синюю машину с вмятиной, на наклейку.

— Вы слишком молодая для сестры, — сказала она.

— Двоюродной, — сказала Кира. — Нам можно.

Вера Павловна прочитала доверенность дважды. Потом вернула её и посмотрела на меня.

— Осташёв. Вот мой номер. — Она написала его на обороте чека из «ПРОДУКТОВ». — Звони. В любое время. Даже если ты думаешь, что это глупо.

— Хорошо.

— И, Лёва. — Она понизила голос. — Я не верю ни одному слову в этой бумаге. Но я верю тебе. Не подведи меня.

Она ушла. А я стоял с чеком в руке и понимал, что это хуже, чем если бы она кричала.

Полина вышла следом. Без фотоаппарата, в куртке, с руками в карманах.

— Уезжаешь? — спросила она.

— Да.

— С ней?

— Это сестра.

— Ты врёшь, — сказала Полина спокойно, как говорят «идёт дождь». — Ладно. Девятый кадр — кот на Фонтанке. Десятый — мужчина из опеки на лестнице. Хочешь, покажу, когда проявлю?

Я хотел сказать «да», и «нет», и «не лезь в это», и «спасибо».

— Хочу, — сказал я.

— Тогда в Москве. — Она развернулась. — И не обещай мне ничего. Просто приходи.

Весь вечер Кира учила меня правилам «Полночи», и к девяти у меня болела голова.

— Первое: не ешь ничего, что тебе предложат.

— Даже если я голодный?

— Особенно если голодный. Угощение — это договор. Поел у нечисти — согласился. А согласие у нас не отзывается.

— А если предложит человек?

— Там нет людей.

— Второе?

— Не называй полного имени. Лёва — и всё. Полное имя — это ты. А Лёва — это твоя обувь. Обувь можно и потерять.

— Третье?

— Не обещай. Ничего. Даже «я вернусь». Особенно «я вернусь».

Я вспомнил про плёнку и ничего не сказал.

— Четвёртое: не садись за стол, если тебя не пригласил хозяин. Не поворачивайся спиной к сцене.

— А что на сцене?

— Ничего, — сказала Кира. — И это самое неприятное.

Клуб «Полночь» находился в подвале дома, где на первом этаже была химчистка, а на втором — стоматология. У чёрного хода стоял человек с лицом охранника и манерами аспиранта.

— Пропуск.

— Вельяминова, Ведомство, отдел пятнадцать-К. Он со мной.

— Кто он?

— Как указано.

— Кто он? — повторил охранник без всякого раздражения. Только очень старая привычка.

— Если я скажу его имя здесь, на улице, вам потом придётся объяснять, кто его услышал, — сказала Кира. — Давайте так: я оставлю залог. Свой. Устав, статья девятая, часть четвёртая.

Охранник подумал секунды три.

— Внутрь.

Только когда мы прошли, я понял, что всё это время не дышал.

Внутри «Полночь» была похожа на вечерний вагон электрички, в котором собрались люди, знающие друг друга сто лет. Тяжёлый воздух. Жёлтые лампы под абажурами. Красный бархат на диванах, который помнил, наверное, ещё мою прапрапрабабку. Столы, за которыми торговались, спорили и смеялись. Пахло вином, табаком, старой кожей и сотней разных людей сразу.

Я встал в проходе и понял, что меня видят.

Не все. Но мужчина у колонны повернул голову. Женщина в очках перестала смеяться. Старик за картами оторвал взгляд от веера в руке.

— Ну надо же, — сказал кто-то в углу.

— Не останавливайся, — шепнула Кира.

И тут встал один человек.

Молодой, чуть старше нас, в сером костюме, с лицом, которое знало, что оно красивое, и пользовалось этим как паспортом.

— Кира, — сказал он. — Ты привела на нашу землю чужого. Без согласования.

— Никита. Отойди.

— Отойду. — Он обошёл её по дуге, как обходят собаку, и остановился передо мной. — Здравствуйте. Никита Ростокцев. А вы, я так понимаю, тот самый.

— Лёва, — сказал я.

— Просто Лёва? — Он улыбнулся. — Правильно. Кира хорошо учит. — Он наклонил голову, принюхался, как к вину. — А пахнешь ты как Осташёвы. Мне говорили, что Осташёвы кончились. Получается, мне врали.

— Тебе часто врут?

— Постоянно. Я привык. — Он достал из кармана леденец в золотой обёртке. — Хочешь? Мятный.

— Нет, спасибо.

— Молодец, — сказал Никита, без обиды убирая леденец. — Слушай, я по-дружески. Уезжай. Сегодня же. В Москве тоже плохо, но там хотя бы не здесь. Здесь люди, которые через двадцать дней будут решать, кому достанется твой дом. И очень многие из них хотят, чтобы до совета ты не дожил.

— А ты?

— А я пока не решил. — Он вернулся за свой стол. — Сообщу.

По дороге к сцене нас перехватил старик. Он сидел на диване у стены с пустым стаканом в руке. Седой, сухой, в жилете, на вид лет семьдесят.

— Вельяминова, — сказал он. — Девочка. Сядь на минуту.

— Дядя Гриша, у нас нет минуты.

— Минута есть у всех. — Он показал на стул. — Это же маленький Осташёв? Садись, маленький Осташёв. Я тебя приглашаю. Хозяин дивана — я.

Я посмотрел на Киру. Она кивнула. Я сел.

— Знаешь, почему тебя никто не трогал до вчерашнего дня? — спросил старик.

— Потому что не видели.

— Умный. В деда. — Он отставил стакан. — А теперь видят все. Совет тебе от старого, бесплатно, потому что за советы я денег не беру, я за них беру внимание. Не беги. Тот, кто бежит, светится. Тот, кто сидит и говорит, только говорит. И запомни ещё одно. Те, кто говорит с тобой о долге, тебя не тронут: у долга есть правила. А вот те, кто начнёт говорить о справедливости, — эти могут всё.

Он встал и ушёл к бару.

— Кто это? — спросил я.

— Григорий Львович. Ему триста двенадцать лет. Он знал твоего прапрадеда. — Кира помолчала. — Я первый раз вижу, чтобы он с кем-то сам заговорил. Обычно он только смотрит.

За столом у сцены сидела женщина лет пятидесяти: дорогой костюм, короткая стрижка, лицо, с которого можно писать министерские указы. Рядом с ней, чуть в тени, сидел мужчина в сером, немолодой, с аккуратным пробором, и что-то записывал в толстый блокнот перьевой ручкой. На мизинце у него было кольцо-печатка.

У меня внутри что-то дёрнулось. Но в клубе пахло сотней вещей сразу, и сургуча среди них я не различил. Или различил, но не поверил.

— Валерия Марковна, — сказала Кира. — Ведомство. Прошу слова.

— Говори и садись.

Кира села. Я остался стоять — меня не пригласили.

Валерия Марковна посмотрела на меня, и стало понятно, что её глаза за всю жизнь не удивились ни разу.

— Итак. Мальчик, шестнадцать лет, вурдалак, неизвестный ночному миру, пришёл в клуб. — Она постучала ногтем по чашке. — Ты понимаешь, что это значит?

— Нет, — сказал я честно.

— Это значит, что найти тебя было нельзя до вчерашнего дня. Значит, кто-то тебя прятал. Значит, прятал с целью. И значит, тот, кто прятал, уже знает, что тебя нашли. — Она отпила чай. — Тебе бабушка рассказывала про Осташёвых?

— Нет.

— А про то, от чего умерла мать?

— Нет.

— А про то, что тебе нельзя на кладбище?

— Что? — Я засмеялся, впервые за вечер. — Нельзя на кладбище? Как в чат без админа?

Зал зашумел. Валерия Марковна поставила чашку, и шум стих.

— Смейся, — сказала она. — Это хорошо. Через двадцать дней совет решит, признать ли тебя наследником. Для этого нужно две вещи: кровь, которую проверят, и доказательство того, что тебя прятали по нашему закону, а не украли. Украденное не наследует. — Она посмотрела на Киру. — Кто прятал?

— Бабушка, — сказал я.

— Бабушка — человек?

— Да.

— Печать ставила ведьма, — сказала Кира. — Отдел подтверждает. Имя запросим.

— Запросите. — Валерия Марковна повернулась ко мне. — И ещё. Ты в очереди, мальчик. Кто-то уже взял твою подвеску. Запомни: тот, кто возьмёт её насовсем, получит не наследство. Он получит ключ. И не к дому.

Мужчина в сером закрыл блокнот и впервые поднял на меня глаза. Светлые, спокойные, без выражения.

— Лев Анатольевич, — сказал он мягко. — Вы внесены в список. Совет — через двадцать дней. Вас известят.

Я почти ответил. Губы уже сложились в «да».

Кира под столом наступила мне на ногу. Каблуком.

Я промолчал. Мужчина в сером смотрел на меня ещё секунду, потом чуть улыбнулся, как улыбаются ученику, который не поддался на простой вопрос, и снова открыл блокнот.

— Кто это? — шепнул я, когда Валерия Марковна отвернулась.

— Секретарь совета. Ведёт списки, протоколы, печати. — Кира не смотрела в его сторону. — Его работа — всех называть полным именем. Не принимай на свой счёт.

Я принял на свой счёт. Но промолчал.

Валерия Марковна встала.

— Всем проверка, — сказала она в зал. — Кто-то в этом городе купил и продал, раз дети ходят по улицам с открытым окном.

Зал начал подниматься.

А потом погас свет.

Не отключился — погас, как будто из розетки выдернули штепсель, и всё остальное ещё секунду жило по инерции: голоса, звон стаканов, чей-то смех.

В темноте рядом со мной кто-то сделал шаг. И ещё шаг.

А потом на шее у меня оказались холодные пальцы. Они искали шнурок.

Я развернулся, и удар вышел сам — я не думал, просто отвёл руку, как отводят ветку. Нападавший отлетел к стене и сполз по ней.

Я видел в темноте. Это была женщина: короткий светлый ёжик, серый плащ, серьга-гвоздик в одном ухе. Она сидела у стены и потирала плечо.

— Тише, наследник, — сказала она спокойно, будто мы разговаривали по телефону. — Я не вор. Я проверка. Хотела убедиться, что подвески на тебе нет.

— Её нет.

— Вижу. — Она поднялась и отряхнула плащ. — Значит, ту, что взяла, я ищу не зря. Подвеску взяла не я. Её взяла та, у кого есть тропа.

— Кто ты?

— Та, кто проверяет, кто кому продал. — Она подошла ближе. — Две вещи, наследник, раз уж ты так больно бьёшь. Первая: то, что ты ищешь, лежит не там, где ты думаешь. Вторая: твоя бабушка не в беде. Пока.

— Где она?

Но женщина уже ушла в темноту, и я перестал её слышать, хотя слышал всё. Это было самое странное: она ушла так тихо, что даже моё новое ухо не уловило шагов.

Свет зажёгся через минуту.

Стол у сцены был пуст. Валерия Марковна ушла. Секретаря совета тоже не было, только на скатерти, там, где лежал его блокнот, осталась маленькая красная капля застывшего сургуча.

Я наклонился и понюхал её. Она пахла так же, как утро на лестнице хостела.

— Лёва, — Кира нашла меня у стола. — Ты цел?

— Цел. Ко мне подходила женщина. Сказала, что она проверка.

Кира выругалась так, что я не понял половины слов.

— Значит, у нас уже две стороны, — сказала она. — Одни хотят подвеску, другие проверяют, кто её взял. И знаешь, что хуже всего?

— Что?

— Что они друг о друге знают больше, чем мы.

Я показал ей сургучную каплю. Она посмотрела на неё долго и ничего не сказала. Только завернула в салфетку и убрала в карман.

— Пойдём, — сказала она. — Едем в Москву. Прямо сейчас. Там твоя бабушка, там твой дом, и там начнётся самое неприятное.

Мы выехали из Петербурга в полночь, ровно через двое суток после того, как я сюда приехал.

На заднем сиденье лежал мой рюкзак. В рюкзаке была перчатка, пустой шнурок, фляжка с пайком и чек из «ПРОДУКТОВ» с номером Веры Павловны.

А в кармане куртки — записка: «Подвеска у меня. Так безопаснее».

Я всю дорогу думал о том, для кого безопаснее.

Глава 5. Квартира

До совета — девятнадцать дней

Кира молчала до самой Твери. Молчала не так, как молчат обиженные, а так, как молчат люди, которые уже всё решили и ждут, когда ты дойдёшь до этого сам.

— Ты не спрашиваешь, — сказала она наконец.

— О чём?

— О том, что будет дальше.

— Мне страшно спрашивать.

— Правильно, — сказала Кира и включила поворотник.

Дождь начался сразу за Тверью и не кончался. Дворники работали, как метроном, и под этот ритм я наконец уснул — впервые за двое суток.

Проснулся я от боли.

Машина стояла на пустой заправке где-то под Клином. Дождь кончился. Тучи на востоке разошлись, и в щель между ними вылезло солнце — низкое, красное, утреннее. Оно било прямо в боковое стекло, мне в лицо, в шею, в руки, лежавшие на коленях.

Кожа на руках горела. Не краснела, как раньше, когда я забывал крем с жирафом, — горела, как будто я положил ладони на плиту. Глаза слезились так, что я ничего не видел.

— Кира…

Она уже стояла с моей стороны. Рывком открыла дверь, накинула мне на голову свой плащ и пригнула к коленям.

— Не смотри. Дыши. Сейчас.

Она обежала машину, вытащила из багажника старый клетчатый плед, пахнущий собакой, и завесила им боковое стекло, прищемив край дверью. Потом второе стекло — своей курткой. В машине стало темно и душно, как в палатке.

Я сидел под плащом и дышал.

— Раньше так не было, — сказал я. — Раньше просто пятна. И тошнило.

— Раньше на тебе была подвеска, — сказала Кира. Она села за руль и тоже накрылась курткой, хотя ей солнце ничего не делало. Просто чтобы мне не было одиноко под плащом. — Она прятала тебя не только от наших. От солнца тоже. Теперь её нет, и солнце видит тебя, как есть.

— И что теперь? Мне жить в подвале?

— Нет. Привыкнешь. — Не все наши боятся солнца одинаково. Кто-то сгорает за минуту. Кто-то только щурится. Это зависит от того, как ты с ним договоришься. Солнце не злое, Лёва. Оно просто очень честное. Оно показывает всё, что есть.

Мы просидели под пледом минут двадцать, пока солнце не ушло за новую тучу. Кира рассказывала мне про заправки на трассе М-11 — где хороший кофе, где туалет закрыт с девяносто восьмого года, где на кассе работает кикимора и никто этого не замечает, потому что она очень вежливая. Я слушал и почти смеялся.

Потом руки перестали гореть. Только кожа на тыльной стороне ладоней осталась красной и стянутой, как после ожога.

— Мажь, — сказала Кира и протянула мне тюбик. Детский крем от загара. С жирафом.

— Откуда у тебя?

— Купила на заправке, пока ты спал. — Она пожала плечами. — Подумала, вдруг пригодится. Жираф был последний.

Дальше я ехал на заднем сиденье, под пледом, и смотрел на Москву через щель между клеткой и стеклом.

Машина остановилась у моего дома в восемь утра.

Телефон, который я поставил на зарядку от прикуривателя, показывал восемь утра и одиннадцать пропущенных. Девять — от Веры Павловны. Одно — с незнакомого номера. Одно сообщение от Полины: «Проявлю в понедельник. Не пропадай».

Я ответил Вере Павловне: «Доехал. Всё нормально». Это было не совсем враньё. Доехал я действительно.

— Приехали, — сказала Кира. — Только я сразу скажу: я не пойду первой.

— Почему?

— Потому что это твой дом. Если я войду первой, я стану свидетелем. А свидетель в нашем деле — тот, кто потом либо врёт, либо отвечает.

Двор я узнал сразу. Качели без одной цепи, три тополя, машины, припаркованные так, что не выедешь. И бабушкино окно на втором этаже — тёмное.

Тёмное.

Я стоял и смотрел на него секунд десять. За шестнадцать лет я ни разу не видел, чтобы это окно не горело, когда я возвращаюсь. Бабушка всегда ждала. Даже если я просто шёл медленнее, чем обещал, она стояла у окна и делала вид, что смотрит на улицу.

Я поднялся по лестнице, открыл дверь своим ключом и вошёл.

И сразу понял, что дома никого нет.

Не так, как бывает, когда человек вышел в магазин. А так, как бывает, когда человек ушёл надолго и знал об этом. Чай в чашке на столе — недопитый, с плёнкой сверху. Тапки стоят ровно, носок к носку. На плите кастрюля, в кастрюле суп, и суп уже начал пахнуть так, как пахнет суп, который никто не съел.

Я сел на табуретку и просидел так минут десять. Кира стояла в дверях и не мешала.

— Лёва, — сказала она наконец. — Здесь были чужие.

— Кто?

— Двое. В разное время. — Она вошла, принюхалась, медленно, с закрытыми глазами. — Женщина. Сидела вот здесь, на табуретке, долго. Часа три, не меньше. Лавровишня.

— Та же, что в хостеле?

— Та же. — Кира повернулась к столу. — И мужчина. Недавно, под утро. Стоял у стола, открывал ящик. Был недолго.

Я втянул воздух и, к своему ужасу, тоже почувствовал. Под запахом супа и старого чая лежал другой: горячий воск и аптечная краснота.

— Сургуч, — сказал я.

Кира посмотрела на меня и не стала спорить.

Из-за шкафа в прихожей вышел маленький человек.

Я говорю «человек», но он был не человек. Ростом мне по пояс, в фартуке, в очках на резинке, с лицом пенсионера, который всю жизнь проработал в ЖЭКе и ни разу не выспался.

— Ну наконец-то, — сказал он. — Я тут вторые сутки караулю, у меня, между прочим, молоко скисло.

Кира вздохнула.

— Лёва, это Анисий Фомич. Он живёт в подъезде.

— В подъезде, — подтвердил маленький человек. — Второй этаж, за электрощитком. Не «в квартире», как некоторые думают. Мы не в квартирах. Мы в подъездах. Это разные вещи, и я устал объяснять.

— Вы домовой, — сказал я.

— Домовой, — согласился он. — А ты, значит, Лёвка. Вырос. — Он посмотрел на меня поверх очков. — Весь в деда. Дед твой был такой же: сначала вляпается, потом спрашивает.

— Вы знали деда?

— Я в этом подъезде сорок два года. Я всех знал. — Он подошёл к столу, отодвинул чашку и сел на край, свесив ноги. — Ты про бабку спросишь. Спрашивай.

— Где она?

— Сама ушла. По своей воле. С людьми Гнездова.

Он рассказывал, как рассказывают домовые: с отступлениями, с претензиями к современности и с обязательным упоминанием того, что раньше лампочки были крепче.

Позавчера вечером, часов в восемь, когда я был в Эрмитаже, бабушка вдруг села на табуретку и схватилась за сердце. Не за сердце — за грудь, под горлом, там, где у меня висела подвеска. Посидела так. Потом встала, выключила телефон, оделась и собрала сумку: документы, лекарства, бутерброд.

Через полчаса в подъезд вошли трое. Один остался внизу, двое поднялись. Не стучали, не ломали — стояли у двери и ждали. Бабушка открыла сама. Поговорила с ними на площадке минут пятнадцать, и голос у неё был спокойный, как у человека, который давно приготовился.

А потом вышла. И, уходя, сказала в пустую квартиру:

— Фомич, скажи ему, что я вернусь. И что подвеску он получил не просто так.

— Это она мне сказала, — пояснил Анисий Фомич. — Я тут единственный, кто вообще что-то слышит. Потом, вчера ночью, пришла женщина. Светлая, в сером. Ключа у неё не было, а вошла. Села на табуретку и сидела. Не искала, не трогала, просто сидела, как в очереди к зубному. Под утро ушла.

— Ждала меня, — сказал я.

— Ждала, — согласился домовой. — Не люблю я, когда в доме ждут. Кто ждёт, тот потом возвращается.

— А мужчина?

Анисий Фомич поморщился.

— Мужчина пришёл после неё. Вежливый. Сказал в пустую прихожую: «Анисий Фомич, здравствуйте». По отчеству меня назвал, понимаешь? Меня по отчеству сорок лет никто не звал. Я чуть не вылез поздороваться. — Он снял очки и протёр их о фартук. — Не вылез. Уж больно сладко звал. Он ящик в столе открыл, бумаги перебрал, ничего не взял. Ушёл недовольный. Я по шагам слышал: недовольный.

— Что он искал?

— А я знаю? — Домовой надел очки. — Только вот что я тебе скажу, мальчик. Я видел, как твоего деда увозили. Видел, как бабушка тебя сюда принесла, трёхмесячного, в одеяле, а одеяло пахло дымом. Видел, как она шестнадцать лет врала тебе про простуду и не спала ночами. И знаешь что?

— Что?

— Она не от Гнездовых пряталась. — Он постучал пальцем по столу. — Она от тебя тебя прятала. От того, каким ты станешь, когда узнаешь.

На кухне стало очень тихо.

— Как это понимать?

— А так, что подвеска — не защита. Подвеска — замок. И висел он не на двери. — Он посмотрел мне в глаза. — На тебе. Чтобы ты не проснулся раньше времени. А теперь треснул. И я тебе не завидую, мальчик, потому что просыпаться всегда больно.

На площадке меня перехватила соседка, тётя Люба.

— Лёвка! Ты когда приехал?

— Только что.

— А бабушка где?

— У родни, — сказал я.

— У родни, — повторила тётя Люба и посмотрела на меня внимательно. — Лёвка, ты врать совсем не умеешь. С детства врёшь, как паровоз: гудишь громко, а едешь медленно.

— Тёть Люб.

— Что «тёть Люб». — Она понизила голос. — Позавчера пришли двое, в костюмах. Спросили Осташёву. Я говорю: вы кто? А они: «Мы от Аркадия Львовича». Как будто я знаю, кто это. Она вышла, поговорила, уехала. В плаще, с сумкой. Только мне на лестнице сказала одну вещь.

— Какую?

— «Люба, если Лёвка спросит, скажи, пусть ищет, где шкаф стоял». — Тётя Люба развела руками. — Я передала. Шкаф-то у вас всю жизнь в маленькой комнате стоял. Его в прошлом году передвинули, когда обои клеили.

В маленькой комнате, где раньше стоял шкаф, пол был светлее. Я сел на корточки и простучал половицы, как в кино. Одна отозвалась пусто.

Я поддел её ножом. Половица поднялась так легко, будто её поднимали часто.

Под ней лежала жестяная коробка из-под печенья.

Внутри были фотографии. Молодая женщина с моим лицом — и не с моим: у неё были светлые глаза и улыбка, которой у меня никогда не было. Мужчина в костюме держал её за руку. На обороте бабушкиным почерком: «Толя и Оля. Апрель». На шее у женщины висела подвеска. Моя. Тёмная капля на шнурке.

Я долго смотрел на эту фотографию.

— Это мама, — сказал я.

Кира стояла в дверях.

— Да, — сказала она тихо. — Ольга Осташёва.

И конверт. В конверте — лист, исписанный бабушкиной рукой, ровно, как в прописях.

«Лёва. Если ты это читаешь, значит, я не успела сказать сама.

Не верь тому, кто скажет, что был рядом. Не верь тем, кто предложит защиту. Не верь себе, когда тебе покажется, что ты уже всё понял.

Твой отец не умер. Это единственное, что я знаю наверняка, и единственное, что я не смогла бы сказать тебе в лицо.

Остальное — в доме.

Пей то, что дадут. Не обижай Фомича. Суп в холодильнике.

Бабушка».

Я засмеялся. Не потому что было смешно. Просто «суп в холодильнике» на одном листе с «твой отец не умер» — это была вся она, целиком, и я вдруг понял, как сильно хочу, чтобы она сейчас вошла и сказала, чтобы я надел шапку.

Кира прочитала письмо через моё плечо и ничего не сказала. Достала телефон и набрала номер.

— Сергей Петрович. Вельяминова. — Пауза. — Да, я знаю, что меня не отпускали. Наследник в Москве. Бабушка ушла сама, с людьми Гнездова. И у нас был гость с сургучом. — Долгая пауза. — Да. Понимаю. Завтра.

Она убрала телефон.

— Это Михеев, — сказала она. — Мой начальник. Он злой, но правильный. Это редкое сочетание, береги его.

— Что он сказал?

— Что сегодня к тебе придут гости. И что мне надо быть рядом, когда они придут.

— Какие гости?

— Вежливые, — сказала Кира. — Других у нас не бывает.

Я убрал коробку в рюкзак. Фотографию мамы положил во внутренний карман куртки, отдельно.

Потом пошёл в свою комнату. Просто постоять.

Комната была такая же, как неделю назад: кровать, стол, плакат с картой звёздного неба, который бабушка купила мне в третьем классе, потому что я сказал, что буду космонавтом. Я

тогда ещё не знал, что космонавтов отбирают по здоровью, а моё здоровье не любит солнце. Бабушка знала. И всё равно купила.

На подоконнике стоял крем от загара. Пятьдесят единиц, детский, с жирафом на тюбике. Бабушка покупала его каждую весну, хотя я давно вырос из жирафов, и каждую весну говорила: «Мажь, Лёва, у тебя кожа тонкая, в деда». Я мазал. Мне казалось, это забота. Теперь я понимал, что это был заговор. Маленький, тёплый заговор, в котором участвовали она, крем с жирафом и подвеска «от простуды».

В шкафу висела моя куртка с капюшоном, которую она заставляла носить даже в мае. В ящике стола лежала справка из поликлиники: «Фотодерматоз. Освобождение от занятий на открытом воздухе». Подпись врача, печать. Я перевернул справку. На обороте бабушкиным почерком было написано: «Терапевт — Зинаида Марковна. Не спрашивает». И три восклицательных знака.

Я сел на кровать и засмеялся. Потом перестал.

Шестнадцать лет она вела эту бухгалтерию. Справки, кремы, врачи, которые не спрашивают. Отговорки для физрука. Шапки. Подвеска. Ночи без сна. Она не говорила мне правду, но каждый день делала что-то, чтобы правда меня не убила. Я не знал, как это называется. «Врать» было неправильным словом. «Беречь» — слишком мягким.

— Это называется «держать замок», — сказала Кира из дверей. Я не слышал, как она подошла, и это значило, что я слишком глубоко ушёл в себя. — Михеев так говорит. Не «прятать», а «держать». Прятать — это один раз. А держат каждый день.

— Она должна была мне сказать.

— Должна была, — согласилась Кира. — А ты бы что сделал в десять лет, если бы она сказала?

Я подумал.

— Рассказал бы Диме.

— Вот, — сказала Кира. — А Дима — маме. А мама — в чат родительского комитета. И через неделю тебя бы нашли. Не наши. Другие. — Она посмотрела на крем с жирафом. — Я её не оправдываю, Лёва. Я просто говорю, что у неё был выбор между плохим и очень плохим. Она выбрала плохое. Шестнадцать лет подряд.

Я положил справку обратно в ящик. Крем с жирафом оставил на подоконнике. Пусть стоит.

Потом вылил прокисший суп, вымыл кастрюлю — не знаю зачем, — открыл холодильник. Там стояла другая кастрюля, полная, накрытая тарелкой. На тарелке лежала бумажка: «Разогреть. Не кипятить».

Я разогрел. Не вскипятил. Мы съели по тарелке. Кира вымыла за собой тарелку, хотя её никто не просил.

Вечером я сел у бабушкиного окна, тёмного. Анисий Фомич сидел на подоконнике рядом и молчал. Потом сказал:

— Ты сам-то ел? Не суп. То, другое.

Я достал фляжку и сделал глоток. Аптека, соль, комок.

— Вот и правильно, — сказал домовой. — Голодный вурдалак в подъезде — это не к добру. Это я тебе как подъезд говорю.

Глава 6. Гости

До совета — восемнадцать дней

Гости пришли в девять утра, что было наглостью.

Я не спал. Сидел на кухне, пил воду, потому что есть не мог, и слушал подъезд. Шаги услышал заранее: трое, ровные, спокойные, один чуть прихрамывает на левую ногу.

— Кира.

— Слышу. — Она спала на раскладушке в прихожей, в джинсах и свитере, и проснулась сразу, как просыпаются люди, которые привыкли просыпаться от звонка. — Что бы они ни говорили, ты не открываешь. Открываю я. И если я скажу «беги» — ты бежишь. Не споришь, не помогаешь мне. Просто бежишь.

— А если не побегу?

— Тогда мне придётся тратить время на двоих.

В дверь постучали. Три раза, вежливо.

Кира открыла.

На площадке стояли трое мужчин в одинаковых тёмных костюмах, с лицами людей, которые умеют ждать в приёмной.

— Доброе утро, — сказал первый. — Мы к Лёве.

Не к Льву Анатольевичу. К Лёве. Я это отметил и не понял, хорошо это или плохо.

— Кто вы? — спросила Кира.

— Помощники Аркадия Львовича Гнездова. Аркадий Львович просил передать, что ждёт внизу и был бы рад поговорить.

— Передайте Аркадию Львовичу, что наследник никуда не поедет до решения совета. Ведомство уведомлено.

— Аркадий Львович так и предполагал, — сказал мужчина. — Поэтому он поднимается сам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.